

Константин Николаевич Леонтьев

Капитан Илия

Константин Леонтьев Капитан Илиа[1] РАССКАЗ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

I

Я с Илией познакомился в Элладе. Я украл у него лошадь, и он мне это простил.

Илиа живет теперь в Ксеромеро[2], в селе Завица.

Я еще мальчиком ушел с дядей из Эпира в Грецию. Дядя отдал меня в услужение в Патрас к одному хозяину, у которого было многое множество *стафид*[3]. У этого хозяина я жил долго, смотрел у него за виноградниками и помогал ему в торговле. Он меня очень любил и отпустил меня с деньгами, когда мне было уже 19 лет.

Вот тогда я стал с этими деньгами ходить по селам эллинским, искал себе места, а больше, скажем правду, ленился, знакомился с людьми, разговаривал по кофейням и проживал свои деньги. Наконец прожил все, и стало мне трудно. Правда, у нас в эллинских селлах

люди очень гостеприимные, и когда встретится тебе какой-нибудь человек, сейчас спросит: «Откуда ты, паликар? Куда идешь? И кто ты сам?» Ты ему скажешь, кто ты и откуда; он тебя в дом возьмет и угостит и отпустит с добрым словом. Женщины спорят и ссорятся между собою о том, к которой в дом ночевать пойдет бедный странник; потому что такое гостеприимство у нас считается делом душевным, для души спасительным, может дому добрый час принести.

Так я и ходил долго без дела по селам, и хотя везде меня жалели и часто принимали даром, однако все-таки я деньги свои скоро прожил, вошел в искушение и украл лошадь в Завице у капитана Илии. Украл даже и не зная чья она, и продал ее в дальнем селе за двадцать талеров. И эти двадцать талеров тоже прожил скоро. Потом нашел себе место в Виотии; прожил там год, часто вспоминая о грехе моем и каюсь. Через год я собрал опять немного денег, пошел в Завицу и стал спрашивать с осторожностью у знакомых людей о том, кто был хозяин лошади, потому что я, как говорю, не знал и сам, у кого именно я

ее украл. Пришел я в Завицу именно для того, чтобы поклониться хозяину ее, отдать ему двадцать талеров и попросить у него прощения. Но когда мне сказали, что эта лошадь принадлежала Илие, я испугался.

Капитан Илия был прежде в Турции долго разбойником, совершил много подвигов страшных, и на вид был он человек грозный, высокий-превысокий, черный, усы вверх приподняты и подкручены, и самый стан у него был разбойничий, молодецкий, тонкий в перехвате, как у тех девиц городских бывает, которые по-франкски корсеты носят. Боялся я ему сознаться; однако как уже дал обещание Божией Матери покаяться и отдать деньги, пошел к нему.

Он говорит: «что ты хочешь, брат, и откуда ты теперь? я тебя видал прежде у нас в Завице». Я отвечаю со страхом: «капитане мой, я имею вам нечто тайное сказать».

Удивился он; однако увел меня в другую комнату и говорит: «садись». А я поклонился ему, вынул деньги и сказал: «простите мне во имя Божие, капитане... Я тот, который у вас прошлого года лошадь украл».

Он не рассердился, сказал только: «несчастный ты!», и потом говорит: «что ж! Ты человек бедный; когда ты каешься, так мне и денег твоих не надо». И оставил меня у себя в доме отдохнуть и погостить.

Дом у него хороший и в порядке: в двух комнатах даже потолок деревянный есть; диваны есть; есть ковры на диванах (их супруга его сама делает); лошадей несколько; жеребят он продает; овец, я думаю, до пятисот будет, коровы есть. Оружия в доме, и старого в серебре и золоте, и нового европейского — в доме множество. Но это уж у всякого грека есть в Элладе; иной имеет дом маленький, разрушенный, скажем, хижину, в доме всего, я думаю, две кастрюли, имеет он, например, жену и сам с нею целое утро зимой маленький виноградник копает, чтобы только для своего дома иметь на будущий год вино простое. Но оружия и у такого бедняка много в доме. Рассердится вдруг такой человек за что-нибудь, сам свой домик подожжет; взял оружие, взял жену, жена ребенка на руки и кастрюли две, и пошли. Он пошел разбойничать, а она куда-нибудь наймется работать. Так и живут по

несколько лет.

А капитан Илиа, конечно, не такой теперь человек. Он давно уже хозяин и все, что имеет, взял он в приданое за женою своею кирой—Эвантйей. Эвантия из самой этой Завицы; лучшего хозяина любимая дочь. А как это случилось, что Илиа был прежде разбойник, а теперь хозяином стал и взял такую девушку богатую и даже красивую и милую, это я вам все расскажу. Эвантия и теперь хороша, а девушкой, все рассказывают, она была просто «носик костяной», как у нас говорится, а турки таких приятных зовут: «Джувайр», то есть сокровище драгоценное. Видал я в Завице не раз, как Илиа с женой под платан наряженные танцевать выходили. Он в фустанелле и феске набок; она в шолковом платье и феска набок; он высокий, да и она не очень маленькая; он стройный, и она свежая; у него курточка снуром черным, а у нее золотом расшиты. Идут гордо так вместе. Илиа тотчас музыкантам—цыганам каждому ко лбу по монетке поплюнит и прилепит (так у нас делают, чтоб им рук от музыки не отрывать); это значит: «Моя теперь музыка! моя команда! Никто не

смей мешать!» И станет Илия первый в ряду с своею женой танцовать. Танцуют, танцуют, не кончают, и все их хвалят. Красиво смотреть и даже полезно и поучительно видеть, что муж с женой хорошо живут и вместе так веселятся. Судьба человеку была. Что сказать?

II

Я забыл вам сказать, что на первый же день, когда капитан Илия простил меня и оставил меня у себя гостить, он велел даже барана убить и сам его по-клефтски[4] зажал. Взяли мы с собой хорошего вина и барана и сели под платаном, за домом на горке. Там мы ели с ним и пили, и он спрашивал меня, почему я из Турции ушел, и когда, и что я намерен теперь делать. Я ему не сказал, и он предложил мне жить у него, за виноградниками смотреть и по хозяйству ему помогать. Я согласился, и прожил у него долго, года два; и ушел не чрез ссору какую-нибудь, а стало мне грустно по родному краю нашему в Эпире и очень захотелось видеть родных. Вот, живя так долго в Завице и у него самого в до-

ме, я и узнал больше прежнего про его жизнь. Про свои разбойничьи дела и подвиги он очень редко рассказывал, хотя их было много; о них говорили другие и говорили иногда разное; а он этим не любил хвастаться. Однажды я осмелился и говорю ему: «Капитане! простите мне, что я вам скажу. Расскажите мне что-нибудь о ваших прежних делах». А капитан сказал вздохнув и очень сурово: «Э! брат, у кого нет дел худых... Все было!.. Что о старом говорить!»

Я другой раз не смел уже спрашивать.

А другие рассказывали разное. Один говорит так: «Раз захватили еврея молодцы капитанские. Привели; деньги взяли. Илиа говорит ему: Теперь, жид, скажи ты, я прошу тебя: «Верую во единого Бога Отца»... Жид с великою радостью: «Верую во единого Бога Отца»... А капитан ему: «И в Сына». «Не могу, капитан! Этого не могу!» Илиа отрубил ему ухо. Сказал тогда жид: «И в Сына»... «И в Святаго Духа»... Опять жид плачет и отказывается. Отрубил ему Илиа другое ухо. Сказал он: «И в Святаго Духа». Тогда Илиа сейчас же убил его из пистолета и сказал своим молодцам:

«Вот мы теперь его душу спасли; а то бы он опять отрекся»».

Рассказывали еще, как он с четырьмя товарищами раз весь день почти до вечера от целой сотни турецких солдат отстреливался; как он прошел даже до самой Македонии и там сжег почти целое село христианское за то, что жители хотели его выдать; рассказывали, что он нападал на турецкие сторожки в горах и перебивал в них всех солдат. Много такого рассказывали. Может быть, в одном были ошибки, а в другом и правда. Дел у него было много таких, это всякий знает у нас.

Но одно есть его дело и знаменитое, и любопытное. Это правда, и об этом деле он и сам мне сказал:

— Вот это, друг мой, все правда, — и сам веселился и радовался много, когда вспомнил об этом деле.

Это дело было в Турции с одною бедною старушкой и с попом деревенским.

На дороге между двумя селами поймали паликары капитанские одну простую сельскую старуху. Ехала она на осле и имела при себе сто золотых турецких лир.

Привели ее к Илии. «Здравствуй, баба! — говорит он ей. — Откуда у тебя эти деньги?»

Баба ему говорит:

— Дочь у меня одна есть, капитан мой, мне замуж ее не с чем отдать. Ездил я в то село к одному человеку и заняла у него сто золотых на три года срока. Есть у меня мужнин брат, на чужбине торгует; может, он поможет уплатить, а если не уплачу к сроку, домик продам, землю продам свою... Что делать, капитан мой!..

Пожалел капитан старушку и говорит:

— Вот тебе, баба, твои сто золотых. Вот тебе еще от меня сто пятьдесят. Поезжай ты сейчас к тому человеку, у которого заняла деньги, отдай ему их назад, расписку у него свою возьми назад и разорви. А мои сто пятьдесят тебе на свадьбу и на приданое дочери твоей; и чтобы никто другой, слышишь, баба, кроме меня посаженным отцом у дочери твоей не был; я ее сам обвенчаю. Ночью сделаем свадьбу. И еще, старуха, помни ты, что за мою голову паша деньги очень большие назначил, так смотри, не выдай меня никому, и за доброе мое голову мою туркам не продай. А я тебе бу-

ду верить.

Отпустили старуху. Она уехала и возвратила тому человеку сто золотых. «Я, говорит, раздумала; Бог с тобой... Когда я тебе заплачу! Сил нет». А сама домой приехала и жениха молоденького дочери нашла, и стала к свадьбе сейчас готовиться. Назначила день свадьбы: а ни жених, ни невеста до самой ночи не знали, что их будет сам разбойник Илиа венчать. И священник не знал до последнего часа, кто посаженным отцом будет...

К несчастью, старуха верила брату своего покойного мужа как духовнику, во всех делах с ним советовалась и ничего от него не скрывала. Ему она сказала об Илие. Мужнин брат пошел и сказал турецкому начальству в надежде получить за голову молодого капитана несколько десятков тысяч пиастров.

Собрались праздновать свадьбу. Пришел ночью капитан; молодцов своих за деревней в лесочке на горке оставил. Заперлись в домике с попом, женихом, с невестой, со старушкой. Обвенчали молодых; за стол сели; ели, пили и песни пели; а в это время целая рота турецких солдат потихоньку дом окру-

жила. И ждут солдаты, пока выйдет сам Илиа, чтобы схватить его. Ждут и не шелохнутся.

Однако вышел не капитан, а вышла сама старуха взглянуть, не близится ли утро; взглянула, увидела солдат, вернулась назад и говорит Илии:

— Капитан мой золотой! Буря и гибель наша! Низамы тебя стерегут!

— Ты предала меня? — спросил Илиа. Старуха несчастная поклялась ему.

— Нет, капитан Илиа, чтобы меня Харан черную взял! Это не я, а Сотираки, верно, предал тебя. Я, прости ты мне, ему сказала; но он мне был со смерти мужа все равно как духовник.

— Пусть будет так, — сказал Илиа, — я верю тебе, баба. Значит теперь мне умирать час пришел!

И потом подумал: что бы сделать (чтобы, значит, спастись). Подумал и поклонился священнику:

— Старче мой, я уж лет пять не исповедывался. Исповедуй меня пред смертным часом моим в другой комнате.

— С радостью! — говорит священник.

Пошли; затворились. Там капитан схватил черепок какой-то; попу на рот и платком ему сверху притянул черепок. Снял с него рясу и камилавку. Надел на себя его одежду. Ему потом руки привязал куда пришлось, крепко, чтоб он ни кричать, ни уйти не мог; а сам, помолившись Богу, вышел из дома. Борода у него, как у попа, небритая; подумал: «солдаты нездешние, где им знать этого попа!»

Старуха и молодые, конечно, молчат; не выдавать же им своего благодетеля.

Вышел капитан Илиа. Еще темно было. Турки вспрыгнули было кто из-за строения, кто из-за камня... Офицер кричит:

— Вур, вур, вур (то есть бей его, бей, бей)! А капитан им:

— Что вы, благословенные, что вы? Это я... Поп здешний...

Остановились солдаты. А он шепчет им:

— Не входите вы, благословенные, в дом. Илиа человек ужасный. Он, спрятавшись, прежде чем сдаться, перебьет из ружья много народу. Вот скоро заря; дождитесь его и убейте. Будь он проклят, анафема, и меня измучил... Пора уже мне и утреню мою прочесть.

Пустите меня, дети мои, домой пройти.

— Иди, учитель, иди, — сказал офицер, — ты скажи нам только, один Илиа в доме сидит или есть с ним товарищи?

— Один, — сказал Илиа и ушел; а как отошел подальше и как почувствовал, что до молодцов его уже не далеко, обернулся с высоты к туркам, выстрелил в них из пистолета и закричал им что было силы: — Вот вам разбойник Илиа где! Вот он где!

И убежал опять в горы с молодцами; а по-па нашли в доме связанного и раздетого.

Об этом знаменитом деле его в газетах эллинских писали, и многие греки наши Сотираки, который его предать хотел, «пресмыкающимся» человеком звали, а про Илию говорили: «Нам, эллинам, такие герои нужны; нас немного на свете, и потому надо, чтоб один эллин и мужеством, и умом равнялся бы десяти людям других племен и государств!»

III

Из Турции в Элладу Илиа ушел при Хусни-паше. Хусни-паша был искусен в преследовании разбоя, и когда его назначили губер-

натором Эпира, капитану Илии стало труднее. Иные из паликар его оставили, и он решил бежать в Элладу. Эллинам, разумеется, нет нужды *заботиться о* разбое в Турции.

Ушел Илия без денег — ничего тогда у него не осталось. В Элладу прийти не трудно; но и в Элладе человек есть должен. Разбойничать он здесь не хотел; и без того (он разве не понимал этого?) турки от эллинов его выдачи потребовать будут; зачем же он здесь еще врагов себе приобретет?

— Надо работать, что делать.

Пришел Илия в одном селе к меднику и лудильщику и говорит ему:

— Мастер, позволь мне за хлеб только и без жалованья тебе помогать, пока выучусь сам лудить и посуду делать?

— Помогай, молодец, я тебе пищу дам и спать можешь даже у меня, — сказал ему медник.

А о том, кто он и откуда, ничего не спрашивал. Только спросил:

— Ты верно из Турции?

— Из Турции, мастер, — сказал ему Илия. А мастер говорит:

— Это хорошо! человек ты молодой, видный и даже из себя как бы страшный... Это все ничего! Все мы люди, брат! Да будет тебе все хорошо, сын мой, от Господа Бога! работай у меня, работай.

И стал работать Илия у медника со старанием.

Медник его хвалил и кормил; а через два месяца и небольшое жалованье назначил.

Илия был на все человек способный. Скоро он выучился уже и сам делать простую медную утварь и лудить; поклонился тогда своему хозяину и благодарил его.

— Добрый час тебе, Илия, — сказал ему хозяин и отпустил.

Пошел тогда Илия по другим селам работать.

Пришел в эту Завицу и стал делать и лудить сам посуду и этим питался. Скоро познакомились с ним все люди, и побогаче, и победнее, и он всем лудил; бедным он часто и даром лудил за молоко или за простой хлеб. Все удивлялись и любовались на него и говорили:

— Вот какой у нас лудильщик! Воин-муж-

чина и собой прекрасный... Молодой, а важный, и усы капитанские! Точно Тодораки Гривас. Не видал ты его — поди посмотри!

Димарх[5] иногда сомневался в нем и покивал на него головой, и даже останавливался перед ним иногда и говорил ему:

— Здравствуй, господин Илиа; здоров ли ты?

— Кланяюсь вам, димархе, господин мой... Я здоров и много благодарю вас.

— Вижу, вижу, что ты здоров, и радуюсь, — говорил ему на это димарх. — Так ты лудильщик, значит?

— Как видите, господин димарх!

— Лудильщик? — еще раз спросит димарх и одну его работу поглядит и другую, покачает головой и уйдет.

А другой раз откровеннее ему сказал:

— Одно меня беспокоит и очень искушает, это что у тебя глаза для лудильщика слишком героические. У тебя глаза больше клефта, чем лудильщика.

Капитан ответит димарху, смеясь, что ему такие глаза Бог дал, и димарх согласится.

— Да! конечно, все Бог, но я вот у лудиль-

щиков что-то таких глаз никогда не видал.

Но больше этого димарх его не тревожил. Что он димарх! Он и сам боится; его народ выбирает.

Так понемногу поправлялся в делах Илия, и поправился. Одежду новую купил; *чапкин* [6], черным снурком хорошо расшитый, и две фустанеллы новых; мыли ему их женщины; а гладить он их сам утюгом старательно гладил.

По праздникам в Завице, после обедни, люди собираются около большого платана; пьют вино, беседуют, поют и пляшут. В Элладе женщины молодые не так как у нас в Эпире танцуют или вовсе особо от мужчин, или становятся все в ряд ниже мужчин. Я в Меццове, например, видел, мужчины все становятся прежде в ряд от первого купца до того последнего носильщика, который зимой людей дорожных и вещи их на спине переносит через снег и горы, а женщины все ниже, то есть хоть бы этого самого первого купца супруга станет в ряд ниже, вослед за носильщиком, а если носильщик не стар и она молода, так им за руку взяться не позволят, а поставят

между ними либо старуху, либо мальчика малого. А в Элладе свободной, все равно как у болгар, все вместе и девушки, и молодцы, и старухи пляшут и скачут.

Капитан Илия выходил часто под платан; садился и песни там пел, он умел играть на *тамбуре*[7] и пел с тамбурой. Оденется получше, усы подкрутит, поет и как будто ни на кого не смотрит, а сам все видит. Пел он разное: и сельские, и городские песни знал, клефтские так пел, что ужас! «О Джакке»[8] и о том, как две горы «Олимп и Киссамос» между собою спорят, и говорит Олимп: «Молчи, Киссам... Ты! *турком стоптанный Кассам*[9]. Я свободен; и на высоте моей сидит орел большой, и держит он в когтях своих молодецкую голову...» (Стихами я, жаль, не помню!) И любовные пел разного рода. Одну хорошую, которую сочинили не знаю где — в Афинах или в Керкире, или в Стамбуле. Эту я немного знаю на память:

*Как ветер лист увядший, пожел-
тельный,
Уносит вдаль, безжалостно го-
ня...*

*Так еду я, мой друг осиротелый,
О! я молю — ты не забудь меня!*

*Вода лазурная у берега дремала,
Была тиха спокойная волна,
Но ветер взвыл — и мутной пеной
вала
Она о скалы бьет, стенания пол-
на!..*

Так и меня в далекую чужбину...

Было очень жалко слушать, когда он это пел.

И многие его с удовольствием слушали и утешались; и старики старые, и девушки все. Одна бедная старушка в Завице имела дочь Калиррое. Эта Калиррое была, одним словом, страшилище; лицо красное, распухлое, глаза малые; очень дурна лицом была эта несчастная девушка. А ее мать часто хаживала к Илии даром посуду лудить. — «Полудишь мне, мастер?» — «Полужу, баба!» Села раз старуха у него; а он работает. — «Мастер, что я тебе скажу?» — «Говори, баба!» — «Ты бы, мастер, у нас женился». — «Что ж, я женюсь; а на ком?» — «Возьми, мастер, мою Калиррое». — «Хорошо!» Старуха обрадовалась. А он

ей: «да молода ли она?» — «Ты видел, мастер, ее. Скажи сам, сколько ей лет?» — «Да семьдесят пять будет!» — говорит Илиа. Старуха тут поняла, что он над ней смеется; больше не докучала ему с дочерью, а посуду он по-прежнему ей всегда без денег лудил. Об этой Калиррое и ее матери Илиа и сам тоже часто вспоминал и смеялся. Хаживала, конечно, плясать и гулять к платану та самая Эвантия, которая после вышла за него замуж. Так ли он ей понравился — не знаю, и были ли даже у них какие-нибудь особые разговоры прежде женитьбы — и этого сказать не могу. А щеголять она всегда любила: курточками расшитыми и ожерельями из монет, и юбками шолковыми, и фесками на бочок загнутыми с большими кистями. И теперь еще любит; нарочно так и взмахнет головой, чтобы кисть лучше легла у нее. И сама сознается: «Увы! Пусть Бог мне простит, любила я красоваться и сама собой любоваться! Все даже думала — чем-нибудь не вытереть ли мне лицо мое, чтоб оно больше блестело! А когда отец новые длинные серьги мне золотые привез, я уж стала перед зеркалом... И пойду, и отойду, и так головой

качну, и этак качну. И все, чтобы больше сиять. Любила я это!»

— А теперь уж не любишь, я так замечаю, — сказал ей муж как бы сурово.

— Что теперь! Сказано — замужняя женщина. А капитан Илиа как будто смиряется пред ней.

— Так, так! — говорит, — я и сам вижу, что не любишь. Как ты говоришь, так пусть и будет.

Смиряется он пред ней часто; это я замечал. Да и как не смиряться: не только богатство и дом она ему принесла, но и душу его, быть может, спасла; когда бы не женился, он скитался бы опять и взялся бы за прежние дела свои и сколько бы новых грехов приложил бы к прежним.

Я говорю, что не знаю как, они сами ли познакомились, или прямо сам отец Эвантии полюбил молодца и дочери его предложил? Дочь ли за Илию у отца старалась, или отец уговорил дочь за него выйти? Спрашивать об этом их самих совестно. А от людей больше об отце слышно, чем о ней. Отец Эвантии, кир-Ставри, старик веселый, я его тоже знаю;

он вместе с зятем и дочерью и теперь живет. Толстый, красный, усы седые, веселый, я говорю, такой. Все ему «хорошо», все «слава Богу!» — «Хорошо, — говорит, — хорошо, все хорошо! Zito!» Люди говорят, что он все хвалил Илию с самого начала и угощал его, и деньгами помогал. — «На! мужчина! — скажет и кулак сожмет. — Такого бы сына я бы желал иметь. Это сын!»

Раз, уже живши у капитана в доме, я помню, он смеялся и говорил, как он застыдился, когда в первый раз увидал Эвантию.

— Когда я пришел лудить в Завицу, кир-Ставри (это отец Эвантии, кир-Ставри) увидал меня вечером и расспросил «кто я и откуда». Поговорили. Я сказал, что лудить буду. — «Луди, луди, сын мой».

— А есть ли, говорит, где тебе ночевать? Я говорю: «негде!» Он говорит: пойдём ко мне. Пошли... Поужинали... Только я ее, Эвантию, в темноте и не разглядел хорошо: туда-сюда ходит, а в комнате темно. Пошли спать. Кир-Ставри говорит: «Ты рано встать хочешь завтра?» Я говорю: «пораньше». Постлали мне постель на софе хорошую. Зи-

ма была, я завернулся в одеяло и заснул. Слышу вдруг над собой: «Кир–Лиако[10]! Кир–Лиако! Свет уже. Я вам горячую *хилопиту*[11] принесла». Гляжу, свет — правда! а надо мной стоит с чашкой вот она, Эвантия... и смеется еще... А я так застыдился, страх просто. Спрятался под одеяло скорей с головой и говорю ей: «Поставьте на стол, госпожа моя, поставьте на стол!» У нас в Турции со мной никогда не случилось, чтобы девица такая и мне в постели бы служила. Беда была мне тогда! Да! мне стыд, а она стоит с чашкой надо мной и смеется!»

Вот об этом, правда, он мне и при жене сам рассказывал и смеялся. Мы тогда ночью все вместе сидели и грелись. Посмотрел я тогда на них обоих украдкой. Должно быть, оба они что–нибудь приятное вспомнили. Кира–Эвантия вздохнула; а капитан задумался; ус крутит и молчит и все улыбается.

Они очень хорошо живут. Капитан ее уважает, и я сам видел, как собрались они вместе на праздник, оделись и вышли. У Эвантии к юбке шелковой что–то пристало, капитан сам нагнулся до земли и поправил ей платье. Это

много значит, если вы знаете! Конечно, при других он бы этого не сделал; но он и не заметил даже, что я смотрю на них из окна; а все-таки — любовь тут и уважение есть.

Хорошо; но это все теперь; а что было прежде, вот надо что мне вам рассказать.

IV

Был у капитана Илии в Турции младший брат Василий; они друг друга очень любили.

Пока Илиа сперва при другом начальнике разбойничал, а потом и сам начальником стал, они с братом этим очень редко виделись. Илиа боялся, чтобы не погубить брата, чтоб его за пристанодержательство не осудили.

А когда он в Завице поправился, написал ему. У младшего брата торговля небольшая была, уже и деньги были. Обрадовался он, что старший брат жив и здоров, продал свою лавочку и приехал к нему. Тогда вдвоем им стало еще легче и лучше. Брат и здесь лавочку открыл, а Илиа продолжал лудить и посуду делать. Тогда капитан стал говорить брату:

— Видно не хочет Бог, чтобы дьявол мою

душу взял. Будем жить теперь хорошо.

Еще сколько-то времени прошло все спокойно, и вдруг случилось несчастье. Задолжал один из селян младшему брату в лавочку довольно много денег.

Несколько раз ходил он и просил его заплатить, потому что этот человек был не из самых бедных, но в делах не имел ни порядка, ни чести. Ничтожный был человек. «Подожди, подожди еще!» — Сказал ему Василий наконец что-то, может быть, и грубое; а тот был сильнее его и избил молодого паликара крепко.

Когда капитан Илиа увидал избитого брата, он сказал: «Беда мне! не хочет видно дьявол, чтоб я спасся ни здесь, ни на том свете!»

Зарядил он свое албанское ружье двумя пулями, связал пули проволокой и вышел к платану.

Народу было много, и тот человек, который его брата избил, сидел тут же. Илиа подошел к нему шагов на десять, и тот вскочил. «Стой!» — крикнул ему капитан и выстрелил. Попал он ему в левую руку, и так попал обеими пулями с проволокой, что руку выше лок-

тя почти как отрезало, на клочке повисла. Люди не знали, что делать. А Илиа зарядил вмиг опять ружье, чтобы его не тронули. Видит — никто его не трогает, и ушел домой. Хотел было бежать, но раздумал и сказал брату: «Теперь я за честь нашу с тобой, Василий, сын ты мой, покоен; но Богу я много грешен. Пусть будет, что будет».

И сам пошел к димарху без оружия и сдался.

Димарх пожалел его и сказал вздохнув: «Паликар ты мой бедный, не говорил ли я тебе, что у тебя не такие глаза, как у лудильщиков бывают!»

И все почти в Завице гораздо больше жалели Илию, когда повели его скованного в город Патрас, чем того человека, которому он руку отстрелил, потому что этот был скверный и ничтожный человек, и сварливый, и глупый, и не хозяин, и трус. А Илиа хоть и суровый вид имел, но со всеми жил хорошо, оскорблять никого не искал: с богатыми хозяевами был вежлив, к бедным добр, со стариками почтителен, с молодыми людьми иногда шутил, с женщинами осторожен и цело-

мудрен. Говорят, будто бы был с ним в Завице и такой случай. Пригласили его тоже, как тогда в Турции, венчать девушку одну. А жених ее был не очень молод и много хуже капитана. Человек, который венчает, по-нашему зовется кум — Нунос, все равно как бы он крестил. Венчал Илия эту девушку, она была собой хороша. Чрез сколько-то времени после свадьбы зашел он к ним, а муж в город уехал по делу. Нужно было Илия руки помыть. Она стала ему подавать мыться и говорит:

— Кир-Илия... что я тебе скажу, можно?

— Скажи.

— Увы мне, бедной, кир-Илия, увы! Когда бы жених был кумом, а кум женихом! Увы мне!

— Грех, молчи! — сказал ей Илия и тотчас ушел и ходил в дом к ним после того редко, а без мужа не ходил и вовсе.

Поэтому почти все уважали и любили его в Завице, и, когда повели его скованного в Патрас, иные заплакали даже. И та баба, которая свою несчастную Калиррое ему сватала, и та больше других плакала.

— Прощай, баба! Прощай! Калиррое кла-

няяся, — сказал ей капитан и улыбнулся даже ей.

В Патрасе тюрьма скверная, ужасно сырая, грязная. Долго держали Илию в этой тюрьме, и так ему было иногда тяжело, что он одного только желал, чтобы его поскорее осудили хоть бы на галеры, только бы переменить место. Наконец стали судить его. У того дурака рана уже зажила давно, и он приехал сам судиться с Илией без левой руки. Сидит как филин.

Однако и друзья капитана его не забыли. Главное, отец Эвантии. Он все был без ума от паликара и как только заметил, что и дочери он не противен, так и стал на одном, чтобы спасти его, женить его на Эвантии и успокоить навсегда. И взялся старик за дело. Больше года он старался, хлопотал, расходовал, свидетелей всячески уговаривал и усовещевал. Адвокатов разыскивал. Все наделал.

Сел судья за решетку на свое место и стал судить. Скрыть ничего нельзя. Человек сам здесь, я говорю, без руки сидит. Он хотел, дурак, и руку, говорят, привезти с собой, да не сумел сохранить ее; она и сгнила, и похоро-

нил он ее в землю. Все даже смеялись этому.

Сидит без руки, что делать? Однако и брат младший Василий был тут, которого тот избил, и много свидетелей. Все почти обвиняли безрукого, что он и денег не платит, и ругатель, и мошенник, а Илию и брата его хвалили за их поведение в Завице.

Слушает судья, спрашивает.

Начал говорить наконец адвокат, которого разыскал старик Ставри для защиты своего друга.

Как начал он говорить, как начал говорить, у меня эта речь записана. Мне старик Ставри давал списать. У него была она записана. Сам адвокат ему дал на память, и так долго кир-Ставри бумагу эту в кармане носил и всем читал, что она жолтая стала и развалилась совсем — новую копию снимали с нее. Бывало уж позднее, когда я жил у них, придет кто-нибудь, старик толстый затрясется весь. «Где очки мои, где очки?» А дочь нарочно, как будто с пренебрежением: «Вот твои очки. Верно опять эту речь будешь читать людям... Уж наскучила она людям, оставь ты их». А старик ей: «Э, безумная! безумная! Что за слова твои!

Твоего мужа, глупая, он спас». «Ну и спас, так что ж?» — говорит Эвантия, а Илиа смеется. Хорошо они жили, и речь точно была высокая.

«С самых древних времен, г. судья, наши праотцы эллины, которых слава исполнила блеском и патриотизмом всю вселенную, — с самых древних времен эти великие, эти знаменитые, эти бессмертные предки наши выше всего ценили воинское мужество и отвагу».

Долго он говорил.

— Конечно, — говорит, — руки нет. Но, во-первых, рука эта левая, а не правая. Правая гораздо нужнее. Правую рукой человек подносит ко рту пищу, необходимую для брэнного тела нашего; правую он приступает к большинству трудов своих, правую рукой, г. судья, он излагает на бумаге мысли, которые внушает ему цивилизация, патриотизм, чувство равенства и благородной свободы!.. Скажу более, г. судья... Скажу гораздо более... Правую рукой, а не левой, христианин возлагает на себя символическое знамение православного креста...

ро-восток... Да! на северо-восток — и там даже Полярный Колосс заставит нас задуматься своею двусмысленною политикой... Нам нужны герои, г. судья! Они необходимы нашему народу, эти мужи, которые умеют защищать оскорбленных братьев... И неужели мы пожертвуем даже одним годом свободного существования пали-кара и мужа, подобно этому Илию, который здесь пред вами теперь столь терпеливо и мужественно ожидает вашего справедливого решения?.. Пожертвовать кого же?.. и кому же? Такого героя из-за левой руки ничтожного человека!

Вот как говорил этот отчаянный адвокат. Кир-Ставри продал никак сотни полторы овец и заплатил ему.

Капитана отпустили; присудили его только к денежной пене в пользу раненого, и ее Ставри заплатил.

— И за это заплачу! все заплачу! и будет так, как желает того душа моя! — сказал он и кулаком по столу ударил. И заплатил.

Сейчас отвел Илию из тюрьмы к себе в Патрас на квартиру. Вымылся, выбрился — опять молодец; чистую одежду надел, и уеха-

ли они вместе в Завицу в великой радости.

Скоро и свадьба была после этого. На свадьбе и безрукий филин выпил и помирился.

— Руки не воротишь — Бог вам да простит, — сказал он.

С тех пор Илиа стал жить хозяином.

И хотя он, как я говорю, мало про свою жизнь любил рассказывать; однако о той старушке, которую он еще разбойником в Турции пожалел, всегда вспоминал и говорил:

— Это ее молитвы, сердечная она баба моя, спасли меня. Я так это думаю!

Когда я уходил домой, в Эпир, Илиа дал мне несколько золотых и сказал:

— Слушай, сыне мой! узнай, жива ли старуха (он и деревню назвал, и ее самой имя мне сказал). — Если жива, отнеси ей это и поклонись от меня, и все расскажи ей, что знаешь про меня. А если она, бедная, скончалась, отдай деньги на монастырь или на церковь за ее душу.

Я приехал в село это, дом старушки нашел, и дочь ее и зять меня хорошо приняли. А сама старушка около года пред этим кончила жизнь свою. Я все рассказал зятю и дочери и

отдал деньги на церковь. Они очень благодарили меня и радовались.

Примечания

Впервые: Московский Вестник. 1875. № 114, 115. Здесь по: ППСиП, Т. 3. СПб., 2001.

[^^^]

Акарнания.

[^^^]

3

Стафиды — мелкий виноград, коринка.

[^^^]

4

По-разбойничьи — на большом шесте и особенно вкусно.

[^^^]

Вроде мэра.

[^^^]

6

Чапкин — курточка с откидными рукавами.

[^^^]

Тамбура — балалайка.

[^^^]

О Джеке — клефтская песня.

[^^^]

Вероятно, потому что Киссам (древняя Осса) ниже и доступнее Олимпа, и около много турецких селений.

[^^^]

10

Лиако — уменьшительное от Илия.

[^^^]

Хилопита — род лапши, которую варят с горячим вином в селах и дают зимой по утрам, чтобы согреться и легче вставать было.

[^^^]